Писатель и время



Виктор Астафьев

ДРЕВНЕЕ, ВЕЧНОЕ

Писатель и время

Виктор Астафьев

ДРЕВНЕЕ, ВЕЧНОЕ

МОСКВА «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ» 1980

Виктор Петрович Астафьев — известный советский писатель. Его перу принадлежат повести «Перевал», «Последний поклон», «Кража», «Пастух и пастушка», за которые в 1975 году он получил Государственную премию РСФСР имени М. Горького. Книга «Царь-рыба» удостоена Государственной премии СССР 1978 года. Виктор Астафьев является также автором многих рассказов (сборники «Синие сумерки», «Затеси» и др.).

Настоящая книга включает в себя шесть документальных рассказов. Все они посвящены одной из жгучих проблем современности — человек и природа. На первом плане моральные аспекты этой темы: отношение людей к домашним и диким животным (собакам, лошадям, медведям); ущерб, наносимый горе-туристами и несознательными горожанами чудесным девственным лесам Урала и Сибири; наконец, благотворное воздействие природы на здоровье и настроение человека. Писатель делится своими глубокими и поэтичными размышлениями на эту тему.

А $\frac{21002-072}{М-105(03)80}$ Б.З.—40—8—1979 1603000000

ОСЕНЬЮ НА ВЫРУБКЕ

О медведях, как о чертях, можно рассказывать бесконечно и занятно. Хотя бы, например, о том, как в одном детдоме ребятишки выкормили медвежонка, а когда он стал медведем, увели его в лес. Зверь же, спустя время, явился ночью в поселок и давай ломиться в помещение, похожее на детдом. Большая паника была.

Милиционер, вызванный к месту происшествия, долго убивал медведя из пистолета, зверь горестно кричал, не понимая, за что и почему его убивают.

Или, как обьездчик Ахия — татарин, живший в устье уральской речки Вижай, поддался на уговоры городского охотника и пошел с ним на берлогу, но когда выжил шестом зверя с лёжки и тот вылетел на свет божий, городской охотник, полагавший, что медведя в берлоге стреляют, как свинью во хлеву, бросил ружье и помчался вдаль. Ахия давай палить по предателю, но не попал в него, а вот под медведя угодил. Зверь так его устряпал, что остался у объездчика один глаз, рот, разорванный до уха, и все лицо, как у горевшего танкиста, в натеках и розовой кожице.

Но всех, кто пожелает послушать о берлогах, о проказах косолапых на пасеках, об охоте на овсах, о случайных встречах с медведем грибников, малинников, пастухов, о медвежьих свадьбах, даже о том, как медведица спасла деревенское дитя и воспитала его в лесу, я отсылаю к охотничьему костру, там любитель подобных историй наслушается такого, перед чем даже иной фантаст спасует и может бросить писать, поняв-

ши, как приземлен взлет его и детски слабо вдохновение.

Я же, как и всякий бродячий охотник, когда-то должен был непременно встретиться с медведем и поведать о том. Таскаясь с ружьем лет с двенадцати, исходил я всякой тайги много: сибирской, заполярной, уральской, вологодской, а вот медведя воочию, тет-а-тет, как говорят французы, узрел всего единожды, потому и судите, сколь редок и осторожен этот зверь.

Случалось, конечно, видеть свежие медвежьи следы, хаживал я и медвежьими тропами, рев слыхивал, как-то спугнул вроде бы с лёжки косолапого, но все на таком расстоянии, что уверенности полной не было — медведь бежал или лось, бродяга какой?..

Вообще-то на зверя я почти не охотился. В детстве бывал раза два на маральих солонцах, и когда при мне убили маралуху, стали ее свежевать, я разревелся и убоину есть не смог. Думая, что на меня напущена порча, родственники перестали брать меня на охоту.

В войну довелось мне раза два ходить за козами по снегу. На фронте, случалось, стрелял кур, уток, и «в руках не дрогнул карабин», коли добивали на еду раненых горемык лошадей, брошенных в поле.

После войны мне никого не хотелось стрелять, но нужда заставляла, и — грешен, ох грешен! — много истребил я на Урале тетеревов, уток и в особенности рябчиков.

После окопов, смертей и военной толчеи тянуло от суеты, гама и рева побыть наедине с собою. Охота на рябчиков с манком — уединенная, тихая, иной раз за день километров тридцать — сорок сделаешь, да все по старым просекам, по заброшенным дорогам, по поймам речек, вдоль логов и ключей, красот всяких насмотришься, приключений тыщи изведаешь, надышишься, отойдешь душою...

И до того я сделался беспечен на охоте по птице, что пули вовсе перестал брать, если и были в патронташе один-два заряда с пулями, то лишь для блезиру, как говорят в народе.

Когда я приобрел избу в глухой деревне Быковке, что стоит в глуби мыса, образованного соединившимися реками Чусовой и Сылвой, то и совсем о каких-либо зверях забыл думать: леса здесь давно выпластаны, лишь у речек в недоступных оврагах растерянно ершились островки хвойников да на самом мысу, каменным плугом впахавшемся в водохранилище, обреченно шумела грива колхозного лесного надела.

По вырубкам взошли осинники, липа, березник, необозримое море розового кипрея, малины, всякой разной дудки, чертополохов, ягодников. Большое тут стадо дичи развелось, особенно тетеровов много гнездилось, и охота была хорошая, пока не обсыпали с самолета вырубки химическим порошком, борясь с энцефалитным клещом. Клещ как жил в лесном хламе, так и живет по сию пору, зато птица вывелась почти подчистую. После одной зимы я шел закраиной колхозного леса, и ноги по щиколотку утопали в птичьем пере...

Встреча моя с медведем случилась в ту пору, когда дичи было еще густо,— веснами небосвод качался от свиста, звона, чулюканья и грая. Сидишь, бывало, на тетеревином току и до того заслушаешься, что и стрелять позабудешь.

В том году, как встретить мне медведя, малина продержалась до холодов — лето стояло погожее, но прохладное, зато уж осень выдалась любо-дорого: мягкая, легкая, солнцезарная. Всякая живность повылазила из кустов, из-под корней, из логов и крепей на открытые места.

Я встал рано поутру, отправился по заброшенной

трассе высоковольтной линии, во многих местах уже перепоясанной зарослями кустов, стесненной плотно наступающими осинниками, березой, липами, клубящимся в ложках цевошником, шипицей и ивой. По трассе местами еще косили сено, и вот на отаве-то, зеленой, сочной, похожей на густые всходы озимых хлебов, сидели и поклевывали травку тетеревиные выводки.

Утром пал иней, трава похрустывала под ногами, звонко сыпались листья с осин, было светло и тихо, дышалось так глубоко, что пряный холодок слышно было не только в груди, но вроде бы и в животе.

Тетерева сидели плотно. Я скрал и щелкнул одного, потом другого и, сказав себе: «Будя!» — подался в свою избушку, набрав по пути приморожeнных маслят.

Очень собой и всем довольный, пришел я домой, поел, забрался на русскую печь, чтобы, поспавши всласть, сесть за стол: славно работается в удачно начатый день.

Сколько я поспал, не знаю, как приехал из города один мой товарищ, заядлый охотник, и принялся искушать меня идти в лес, заверяя, что работа не Алитет, в горы не уйдет, да и вообще кому она нужна, моя работа? Книг вон сколько написано, а сделали они человечество лучше? Деньки же солнечные на исходе, скоро падера ударит, снег с дождем пойдет, вот тогда знай себе пиши...

Разве против таких доводов устоишь!

Через час мы топали по той же старой трассе, где косачи жировали утром на хрусткой от инея отаве. Но пригрело солнце, отволгла трава, и все было мокро, переливалось искрами из края в край. Яркие листы, запутавшиеся в бурьяне, тряпично обвисли. На закраинах трассы яснее выявилась и бездымными факелами горе-

ла красная рябина; отава зеленела прямо-таки празднично, местами желто светилась живучая ястребинка и кульбаба да синел в жухлой полегшей траве скромный цикорий. Тетерева с открытых мест убрались в крепи, мы поманили рябчиков. Они охотно откликались, но из рябин не вылетали, там было хорошо, они звали нас к себе. Два спаниеля — мой Спирька и Арс товарища,— один заполошней другого, вышарили в чащобнике вальдшнепа, затявкали, погнали. Мы открыли пальбу из четырех стволов, перепугали долгоносую пташку, собаки ударились искать ее, снова подняли живую, поперли дальше с гавканьем и шумом.

— А не попить ли нам чайку? — предложил мой соратник по охоте: он начинал варить чай, едва исчезало из виду жилье.

Почаевничали, полежали возле костерка, дальше подались, и поскольку я уже загубил две птичьи души, то отправил товарища с собаками старой заросшей просекой, где, по моим расчетам, и должны обретаться в дневную пору выводки, а сам выбрал себе легкий для хода кошеный волок, с тем чтобы коротко по нему пробежаться и, спустившись в речку Соколку, до отвала намолотиться смородины.

Надежды на успехи в охоте не было никакой. Несделанная работа томила меня, и, как только я остался наедине, пошел по старой, клочковато заросшей вырубке, все, что намечалось к написанию, стало вертеться в голове. Но если я отключился от мира сего, уйдя в мир, пышно говоря, иллюзорный, это не значило, что я не видел ничего вокруг и не слышал. Все я, конечно, видел, все слышал и даже ступал вкрадчиво — с носка на пятку по мягкой отаве,— но видел и слышал каким-то уже не главным зрением и слухом, а как бы лишь отражением от главного, второстепенным, что ли.

Зеленый, заросший по обочинам волок незаметно глазу начал клониться на спуск к речке Соколке. Малинник, ягоды на котором закисли и редкий лист оплесневел от паутины, нет-нет да и одаривал меня ягодой-другой, запекшейся, к стерженьку прикипелой, но все еще пахучей. Осот — и здесь осот! — распушился, разъерошился, его иней не бьет, его да крапиву только уж морозом обварит; пенья, выворотни, вершинник и сучья, насоренные лесорубами, год от года зарастали все плотнее, дремучей, но все же шибко поистязали землю гусеницами, колесами, тросами и всяким железом, содрали кожу с земли, заголили ее до обмылисто-серой глины, и трудно берутся добрые растения, особенно лес, на захламленных пустошах. Вот бывший верхний склад. На площадке его, под обвалившимися эстакадами и вокруг преет ломь, бревна, обрезь, щепа, сутунки, бурьян кучно ершится, стеной тут стоят малинники,— самое место для отсидки косача, да и глухарю соблазно. Я нащупал пальцем скобу ружья, шаги мои сами собой сделались еще осторожней: вылетит птица — пальну! Меж тем глаза все как есть отмечали впереди и по бокам волока, а в голове шевелились пестрые, случайные мысли: давно вот бабушке денег не отправлял; как-то домовничают в городе сын с дочерью? Подросли, воля им; приедем с женою — ждут не дождутся, когда уберемся обратно в деревню; в рассказе, который пишется, все же неблагозвучное начало, найти бы... да где вот найдешь-то? Кто потерял?.. На все вокруг глядел прицениваюшимся взглядом, пытаясь сыскать и выловить слова, краски, звуки. Вон сколько люди черпали в природе всякого добра! Может, и мне чего осталось?

За Соколкой, за темными ее ольховыми изгибами, полетнему ясное закатывалось солнце. На стоге сена листья медно, нет, скорее, свинцово засветились. Берез-

ка, озаренная желтым листом и желтым светом вечернего солнца, стоит, как невеста. Фу ты, так вот и лезут избитые выражения! Просто оказия с ними! В Быковке есть мельница, старая, заброшенная, уж я вокруг нее так и этак ходил, чтоб словесное изображение ей подыскать, но в памяти вертелось одно и то же: «Вот мельница! Она уж развалилась; веселый шум ее колес умолкнул...» Да, трудно жать на том поле, где пахали и страдовали классики. А надо! Раз взялся за такую работу. И еще надо как-то собраться написать фронтовому другу большое письмо — докатились до того, что поздравительными открытками к празднику отделываемся!.. Эх, куда идем, куда заворачиваем?!

Что, если ничего не придумывать? Так вот и начать рассказ — с зеленого, густо поросшего волока. Как шел по нему, будто по мягкому ковру! Опять штамп! Ну, черт с ним, вычеркнем... Шел, значит, я по волоку, а впереди поникшие малинники, липки уж безлистые, ольха, молоденькая, крепенькая, теряет зеленый, чуть primороженный лист неохотно. За ольхой — трухлявый пень, красным листом земляники в раскореньях заросший, прелыми опятами облепленный. За пнем медведь стоит на задних лапах. Насторожился. На выворотень смахивает. Не замечал я прежде здесь никакого выворотня. Да разве все пни и выворотни на старых вырубках сочтешь — их тут море! Чего же это он, медведь-то, стоит и стоит?! Если ты медведь, так шевелись, реви, делай чего-нибудь!..

Шли мыслишки, и я себе шел. Нет, меня несло расторможенно вперед, и, подойдя к нему вплотную, я сделал еще два-три шага, как бы его не замечая, уверяя мысленно себя, что так не бывает и быть не может — больно уж все просто; все-таки это выворотень, и к нему, как к выворотню, и относиться надо. «Да это же медведь, ду-

бина! Зверь! Настоящий!..» — вдруг прожег меня насквозь проснувшийся во мне страх.

И разом все откололось, опало куда-то: мысли, видения, предчувствие близкой стрельбы по тетеревам, березка, бабушка, фронтовой друг, и даже литература, и даже собственные дети. Остались я и медведь. Затвердело и как бы контурно означилось в груди мое сердце, реже и напряженней сделались его удары, пальцы прилепились к скобкам ружья. Брюшко большого уперлось в шершавую насечку предохранителя. От неведомых мне предков перешедшая наука зазвучала во мне — нельзя стоять к медведю спиной. Смотри ему в глаза, и чтоб лицо твое не было испуганным или угрожающим, не делай резких движений! И пусть хочется, очень хочется задать тягу, боже тебя упаси от такого соблазна!

Я медленно поворачивался к медведю, потому как прошел его, и, повернувшись, обнаружил, что отделяет нас всего шага три-четыре: даже маленького прыжка зверю достаточно, а в стволах — я это сразу вспомнил и раскаянно осознал — в левом, моем любимом для стрельбы, так как стрелял я после фронта с левого плеча, — дробь — тройка. В правом, несподручном стволе дробь того мельче — пятерка. Слышал я, если в упор стрелять, случается дробью снести зверю череп или выбить глаза...

Да мало ли что говорят и мало ли что случается!..

Я смотрю зверю в глаза, не наводя на него стволов — фронтовой опыт, инстинкт или опять же древняя человеческая память подсказывают: пустоглазые дыры ружейных стволов наводят ужас на все живое.

Зверь выгулялся, заматерел. Шерсть на нем плотная, лоснится, и на загривок ровно бы хомут надет — такой он грозной силой налился. В хомуте узкорылая мордоч-

ка с черненьким и мокрым, как у моего спаниеля Спирьки, пятачком. На пятачке землица. Комочки. Рыжие. Лапы зверя по-детски невинно прижаты к груди, кисти лап отвисли безвольно, будто обессиленные руки. Оторопь, оцепенение сковали зверя и передались мне. Надо бы что-то делать, стрелять уж, что ли, хоть вверх, для испуга, но я стою. Рыльце медведя чуть приподнятое, вытянутое, и вся морда кажется глуповатой. В небольших желтовато-коричневых глазах удивление и виноватость, кажется медведь нашкодившим, провинившимся парнишкой, которого сейчас накажут...

Однако память быстро откатывается назад, схватывает тот момент, когда я увидел медведя, и означается напряженная, скрытая ольхой фигура зверя, его выжидательная стойка за пнем. Да он же кого-то скрадывал, караулил! Следы! Лосиха с теленком ходит по волоку к речке. Он ждал их, чтобы напасть на лосенка. А может?.. Что может-то? Дурья башка! Ну что?! Думай худое, думай — так оно и сбудется...

Я смотрю на зверя, на все так же глупо и удивленно вытянутое его рыльце, все тот же детский пушок темнеет под храпом и в подмышках, и немигающие круглые глазки, так похожие на пуговичные глазки плюшевого мишки, какого дарят малым детям да игруньям-барышням, смотрят все с той же невинностью, и твержу себе: не может, не может...

Но земля не только на мокром пятачке медведя, она в когтях, остро и круто изогнутых. Там, где лапы вроде бы как для сердечного, извинительного поклона прижаты к груди, выше изгиба, под толстой и прямой шерстью угадываются крутые, как у штангиста, мускулы, в забавных глазках внезапно отразился свет закатывающегося солнца и выявил угрюмую и темную, готовую в любой миг пробудиться звериную ярость. Я даже вроде бы чув-

ствовал окременелую тяжесть и холодность этой ярости, способной высечь из себя искру, от которой воспламенится медвежье нутро, заклокочет лавой бешенство...

Хомут на загривке медведя, нелепый и страшный, давил меня все сильнее, огнетал ноги, тело, хотелось забиться, спрятаться куда-нибудь, сердце уже разнобойно и загнанно тыкалось в клетке груди, искало норку, норовило в нее спрятаться...

Не могут долго так стоять один против другого зверь и человек. Кто-то не выдержит. Кто? В голове отдельная, звонкая, круглой пулей катается мыслишка, нет, даже не мыслишка — истерика, вопль: «Вскинуть! Двинуть предохранитель! Ударить!..» Но тот, собранный, рассудительный в минуту опасности фронтовик, который поселился во мне навсегда, не дает ей заполнить всю голову, ослепить ее не дает, он сдерживает меня, не веля шевелиться, бежать, стрелять, делать дурости, от которых больше всего и гибнет людей. Расходиться следует подобру-поздорову. Вот что надо делать! Раздвигая резиновые губы, шевеля чужим ртом, я негромко, в меру властно произношу:

— Ну, уходи! — Узнаю свой голос и радуюсь тому, что в нем спокойствие и доверие.

Не медля ни секунды, ни мгновения, ровно бы он только и ждал позволения, зверь опал на четвереньки и неуловимо, непостижимо, как при таком малом движении сделал незаметный поворот туловища и головы. Медленно, будто ощупью, с легким шелестом зверь пошел в глубь рыжеющих осенних вырубок, ни на мгновение, однако, не выпуская меня из своего бокового зрения: он так и не поверил мне до конца! Ход зверя все ускорялся, он перешел на рысцу, затем в бег и, наконец, в ныряющие прыжки. Медведь исчез так неслышно и быстро, словно и не было его, словно бы наваждение случилось

или я придумал его. Исчез зверь. Растворился в гуще вырубок. Они впитали его, скрыли собою. И только легкий, почти мышиный шелест оставался в моих ушах...

Какое-то время я стоял на месте и ждал, не раздастся ли рев в чаще, почему-то мне блазнилось — зверь непременно должен рявкнуть со злостью и досадою: хозяин тайги, он униженно отступил, повернувшись толстым бабьим задом к человеку! Но, зная, как он, человек, коварен, зверь, быть может, ждал, как ударят по нему из ружья вдогон, и скорей всего уносил он в себе не мстительную злобу, а страх.

Ушел медведь. Исчез. Земля, кусты, бурьян и тайга, пусть даже расхристанная, болезненно оживающая,— его дом, и он распахнулся перед ним, укрыл зверя в глухом пространстве. Я выдохнул из себя спертый воздух и заметил на свежевскопанной земле вяло ползающих полосатых ос и белые раскрошенные соты. Вон оно что! Косолапый-то трудился, добывал себе медку! В сотах земляных ос меду бывает чайная ложка, а вырыл медведь целую траншею! Осы, конечно, кусали его, да такая уж сладкоежка этот косолапый, что и про опасность забыл! Недаром имя ему пришло от древнего — ведающий мед, недаром! Я заставил себя улыбнуться, но никак не исчезала из глаз и памяти фигура зверя за кустом ольхи. Медок-то медведь успел съесть, осы подавлены, от сот одни блестки... Значит, он все-таки кого-то ждал! Подкарауливал. Кого? Не стану клепать на зверя. Буду думать — не меня.

Я поволокся к Соколке. Из зарослей бывшего лесного склада с клохтаньем начали взлетать тетерева. Но боязно сделалось стрелять, шуметь в вырубках, где существовал зверь и, теперь уже невидимый, пронзал из зарослей мою спину колким, мстительным взглядом. Спустившись к речке, я лег на живот и долго пил холодную

воду, совершенно ее не чувствуя, лишь остужаясь изнутра. Потом я утер лицо подкладкой кепки — вся она была в поту. Посидел, тупо глядя на речку, и догадался — надо умыться. Медленно все во мне пробуждалось, движения были вялы, отвычны. Подумалось, а если б пришлось стрелять? Отошел от брошенного лесозаготовителями старого бревна и ударил в гладкий ствол дуплетом. Не подходя еще к бревну, различил — дробь рассеяло... Может, выбил бы зверю глаза? Может, успел бы перезарядить ружье пулей?.. Да малы, очень малы глаза у медведя, а пуля в последней ячейке патронташа, почти за спиной. Патрон тот я года два не вытаскивал, гильза присохла к коже — попробуй в спешке отдери! Ох-хот-ник!

Дуплет, сделанный мною, как-то разом все вокруг и во мне встряхнул. Все раны, все царапины во мне и на мне заныли. Я почувствовал неуютность, томление, тоску и даже горе, от которого хотелось заплакать. Не дождавшись товарища в условленном месте, я поволокся домой. Ни мыслей, ни страха во мне уже не было. Усталость, одна только гнетущая усталость да сухость во рту. Шаг сделался вязкий, возле каждого стожка меня неодолимо тянуло лечь, вытянуться.

С поймы Соколки-речки, с обочин покосов срывались косачи, фуркнул из-под ног рябчик и сел на сухую ольху, весь видный и по-дурацки бесстрашный. Но я только поглядел на него и побрел дальше.

От речки, из глухих, обрубленных логов и запустелохламных вырубок, где жил и скрывался зверь, наносило холодом и темью. Ночью будет большой иней — скоро зима. Я одрябло поежился и заставил себя прибавить шагу, зная, как дома сейчас натоплено, чисто, неодиноко, и заранее радовался всему, что в нем ждало меня, и подумалось: всем этим отныне я по-особенному стану дорожить и буду как можно реже отлучаться из дому.

БЕДНЫЙ ЗВЕРЬ

Было это в Карпатах. Наши батареи прямо с марша развернулись по опушке леса цвета окислившегося, серо-зеленого металла, лавой сползающего с горы, на вершине которой виднелась башня замка, а может, развалины его или утес. Взводы управления выбросились с телефонами и средствами наблюдения к селу, где хаты и садики разбежались по склонам холма и вдоль речки, текущей из европейского, но дикого и глухого леса, что был отбит от дорог и селений краюшками полей, возделанных под озимь. Из-за холма один за другим вылезли немецкие танки, поводили, как бы принюхивались, стволами пушек и двинулись вдоль речки. Наши батареи, расчетам которых не было времени валить деревья, выпиливать секторы для стрельбы, повели огонь с опушек и дымами да выплесками огня как бы оконтурили полуостров леса. Машины, лошади хозвзвода были убраны под укрытие леса совсем уж темного, совсем уж «нашенского», в глуби тем только и отличающегося от сибирской тайги, что по оврагам и поймам речек росли здесь дикие груши, яблони, черешни, ежевика и другие ягодные и плодовые дерева и кусты неизвестного нам вида и названия, и еще, густо сплетенная, клубилась лещина с пучками орехов, которыми тыловики тут же стали набивать карманы, а свободные от дежурств работницы медсанбатов принялись собирать для раненых по сосняку уже перезрелую, темную бруснику.

Бой получился затяжной. Танки маневрировали вдоль ручья, прятались за выступы холма, за хаты, сараи, на

минуту-другую выскакивали, делали из пушки выстрел по нашим батареям, полосовали пулеметом по залегшей в полях пехоте и откатывались назад, за холм, или таились в садах — было ясно, они выполняли вспомогательную задачу, стараясь задержать в предгорье продвижение наших частей и давая возможность отойти своим.

Огонь наших батарей плотнел, усиливался, уж весь клин дикого леса окутался черным дымом, в середке его загорелось, огромный, на грозовое облако похожий клуб дыма вспухал над горами, все шире расползаясь по блеклому, грустному небу осени, заполняя его из края в край темнотой и тревогой.

Впереди нас, в селении, тоже горело несколько хат и сараев. Наконец-то один за другим вспыхнули два танка, затем тягач или машину со снарядами громко рвануло. Артиллеристы подбавили жару, повели огонь азартней. Немецкие танки, жалясь огнем, взвизгивая гусеницами, рыча горячими двигателями, отходили, вертясь среди густеющих разрывов, которые, казалось, вот-вот сомкнутся в смолистом дыму, расползшемся по долине речки, и разнесут эти тупорылые, бездушные машины в черепки.

Я дежурил у телефона на наблюдательном пункте артиллерийского дивизиона, передавал команды, уточняя координаты, довороты, коэффициенты: «Правее ноль-ноль», «Левее ноль-ноль-пять!» Меня ругали командир дивизиона, начальник штаба, топографист и все, кому не лень, если я управлялся с работой не так проворно, как им хотелось бы, а я придирался к телефонистам на батареях, крыл их почем зря, и все у нас шло, как всегда во время боя и стрельбы. Но вот и заминка — без нее уж, будь она проклята, никак не обойдешься. Молодой, недавно прибывший из пополнения связист, громко окая

и по-беличьи цокая, бойко кричавший: «Ноль-ноль-пяць!», «Повторици!», «Не орици!» — замолк и не откликался с батареи. Обрыв! А обрывы, сколько бы их ни случалось на войне, всегда вызывали одно и то же желание — набить морду пропавшему связисту. Поскольку у дежурящего на наблюдательном пункте телефониста руки коротки — он в версте, а то и дальше от батарей, он в этом случае, улучив момент, обращался к своему управленческому связисту с возбужденной просьбой: отдать трубку телефонисту-огневику, самому же сбегать к соседу и узнать, что там стряслось. На сей раз «дырки» не выпадало, работа шла все напряженней, батареи грохотали все дружней, и вдруг среди грохота и гама запалённый голос:

— Извиници, пожалуйста! Я отвлекалси.

— Ты где шлялся, разгильдяй?!

— Да мы тут,— все еще запаленно дыша в трубку и над чем-то в то же время похихикивая, продолжал связист,— ведмедя пужали!..

— Кого-о-о-о?-

— Да ведмедя! Бродит, понимаици, воевацъ мешает...

— Я тебе такого ведмедя дам!..

— Да вправда ж...

— Прекратить! Передаю координаты

— Есть прекратить! Да я ж вправду...

— Прекратить!

К той поре, как дотянуть телефонную линию от Оки до Карпат, я набегался по связи вдосталь, насиделся на телефонах столько, что хорошо ведал: нет на передовой народа более трудового, загнанного и в то же время беспечно болтливого, чем связисты. Особенная им воля в ночное время, тогда всеми способами они не дают друг дружке заснуть. Наслушаешься в телефон и песен, и басен, и анекдотов, и, повествований о том, как тот или

иной боец искушал девку в мирные дни или женился, да еще и не по разу. Однако такого наглого вранья, такой нахрапистой изворотливости я еще не встречал! Ну, отбегал по нужде, ну, еще что — скажи, всегда пойму, сам из связистов!..

Весь я кипел от негодования и ждал вечера, чтоб, когда снимемся с наблюдательного и придем в лес, «потолковать» с новичком и навсегда внушить ему древнюю мудрость: «Знай край, да не падай!..»

К исходу дня мы отогнали немецкие танки. И пехоту тоже. И все, что надо было сделать, сделали. Впереди в деревне уже суетились наши пехотинцы в выгоревших гимнастерках, по огородам и в облетевших садах минометчики копали укрытия для своих «самоваров». От догорающих хат тянуло по долине кислой соломенной гарью и тяжким, затхлым духом заживо сгоревшей скотины и птицы.

Вечером, когда закончится бой и от лесов, гор и речки потянет осенней сыростью, прелью опавших яблок и листа, всякий чад и дым сильнее ощутимы, а вид разрушенного человеческого жилья как-то по-особенному тягостен и скорбен.

Молодого связиста искать не пришлось. Он сам меня нашел, схватил за руку:

— Вот не верици, не верици, а все правда! — И поволок меня в глубь леса.

Сначала мы шли по высокому корабельному сосняку, под ногами у нас хрустел и кровенился брусничник, затем спустились в овражек, густо заросший лещиной, и возле мокрого каменного желобка, затянутого слизью мха, увидели уткнувшегося в гущу табачно-воняющего таволожника мертвого медведя. Он лежал большой бурой кучей, подобрав под себя задние лапы, а передними зажав уши и морду, точно хотел быть поменьше, неза-

метней, чтобы забиться в какую-нибудь щелку, влезть под корешок.

Связист ногой тронул тушу медведя. Она не закачалась кисельно, не шевельнулась и не свалилась на бок. Зверь словно присосался к мокрой земле брюхом. В глазах его безбоязненно шарили мухи, по шерсти ходили муравьи, мышка пробила под зверем норку.

— Околел! — вздохнул связист.— А такой был потешный...

И поведал о том, что, как только поднялось в лесу движение и открылась стрельба, откуда-то взялся этот самый медведь. Сначала он стремительно бегал по лесу, взъерошенный, молчаливый,— искал уединения. Но немцы открыли ответный огонь. Лес загорелся. И тогда медведь заметался по кругу, заорал утробно, после поднялся на задние лапы и, ровно в плен сдаваясь, ходил от одной грохочущей огневой позиции, объятой дымом и пламенем, к другой. Было не до него, и огневики отпугивали зверя чем могли.

Заряжающий третьего орудия, здоровенный тульский мужик Гызин, в жизни брюзгливый, нудный и медлительный, во время стрельбы совершенно преображался. Словно ошкуренную горячую картоху, бросал он с руки на руку снаряд, совал его в казенник орудия, досылал банником, тут же без тычков и промахов лихо бросал вослед снаряду празднично светящуюся гильзу, с лязгом запирал замок и звонким, ликующим голосом извещал: «Тррр-рыть-тово!» — и через минуту выбрасывал ту же самую гильзу, уже грязную, горячую, широкозевую, и она, ненужно валяясь на изжитой хвое, курилась горчично-желтым дымом. С зачерненной копотью, оскаленной рожей, в нижней рубахе, радужно пропотелой на спине, Гызин, увидев позади себя медведя, заорал, осклабясь:

— Ты че тут стоишь, обормот?! Подавай снаряд! — И бросил к ногам зверя горячую гильзу, норовя угодить по когтям. Медведь подобрал ногу и, как выдрессированный, стоял на одной лапе, в потрясении открыв розовую осопелую пасть.— А-а-а, дак ты хвокусник?! — взревел Гызин и, огрев зверя банником по башке, погнал его от огневой, тыча банником в куцый бесхвостый зад.

Поначалу пугавшиеся шатучего зверя огневики, увидев такое его унижение, кричали теперь всякую всячину, смеялись, бросая в медведя чем попало, куражились над ним. Ну и наши телефонисты— где же без них обойдется?! — включились в дело. Всем потехой сделался грозный зверь, никто не снисходил даже пристрелить его. А ведь многие из тех вояк, что потешались над медведем, встреть его здесь в иное время, в штаны бы навалили. Зверь кружил, кружил, орал, орал, да и сипеть парально начал, и все лапами махал возле ушей — оконтузило его, видать. Молодой связист божился: сам видел — медведь плакал по-человечьи, в голос, и слезы катились по его волосатой морде. Хватило его ненадолго. Зверь разбито опустился на четвереньки и поковылял куда-то, до земли уронив тяжелую голову.

После боя солдаты отправились по воду и обнаружили медведя возле ключа — попить пришел косолапый или спрятаться хотел в привычном, затишном месте, да тут и умер.

Вечером на опушке леса под огромной, ветрами скрученной сосной хоронили убитых бойцов. Два старых огневика — заряжающий Гызин и наводчик Кушаков — после похорон подались по оврагу вниз — умыться и попить, однако, переглянувшись меж собой, прихватили лопаты, и по дороге к ключу Гызин буркнул:

— Кобылке токо бы потеха, закопать — того нету!..

Наводчик мог бы сказать Гызину: «А сам-то?..» — но они давно воевали вместе, ели из одного котелка, случалось, откапывали друг дружку из заваленной взрывами огневой позиции, так что Кушаков и без слов знал — напарник его сейчас как бы после похмельного угара, чувство вины его гнетет, и он будет говорить всякое, выслуживаться неизвестно зачем, вести себя не по-мужицки — мелковато. Гызин пивал до войны, не всякий раз и получку до дому доносил, потом семенил перед женой, метусился, да и подызмельчал незаметно натурой.

С видом знатока Гызин похватал горстью мертвого зверя за бока, развел кудельно-мягкую шерсть на кочковатом загривке медведя, подул в нее и важно сказал, усаживаясь на голыш, маковкой выдавшийся из травы, сочным островком окружившей исток ключа:

— Чистой ости шерсть. Подшерсток уж пепелится.— И начал сворачивать цигарку.

Кушаков посомневался насчет подшерстка: какой подшерсток у зверя, которому в глухой берлоге лежать? Не белка ведь, не куница. Но он снова ничего не сказал. Закурив и зачем-то отогнав рукою дым, поплывший в сторону друга, который и сам сидел, зажав цигарку губами, Гызин добавил со вздохом:

— Скоро зима! Еще одна.— И тронул ботинком тушу зверя.— Выгулялся пан-михаил на селянских овсах! Может, оснимаем? «На тутошних овсах, как на солдатских сухарях!» — хотел возразить Кушаков, да так глотнул дыма, что зашелся в кашле и сердито замахнулся бросить цигарку в желоб ключа, но изменил решение уже в замахе, оставил руку и, разжав пальцы, уронил окурок под ноги.— Оснимаем, командиру батареи шкуру отдадим.

— Ему только медвежьей шкуры до полного счастья и не хватает! — глядя, как серым слепнем шевелится и пожужживает в траве газетный окурок, заговорил, наконец, Кушаков.— А так уже все есть: на груди ордена, в паху осколки, полсотни гавриков-потешников на шее и в придачу взводный, который за год учебы в артполку так и не запомнил, с какого конца пушку заряжают...

— Не осымывать так не осымывать. Я ведь так это. У него все одно шкура с мясом состылась, не отодрать.

— На ем сала, как на борове! Состылась...

— И сало не лишнее. Пользительное... Чего сердишься-то?

— Да не сержусь я,— дождавшись, как отшипел в траве окурок и синяя ниточка дыма сплелась с травкой, тоже осиневший от ожегшего ее инея, глухо произнес Кушаков.— Зверя мне жалко. Бедный зверь! И ему спасения нету...

— А людей? — вскинулся Гызин и ровно бы даже обрадовался, что вот наконец-то и у него нашелся основательный предлог возразить другу.— Сколько в яму-то рядком положили?

— Да-а... Пока дошли до Карпат, наоставляли.— Кушаков поднял лопату и, опершись на нее грудью, смотрел на зверя, будто все еще дожидаясь, что тот вскочит и дернет от них в кусты.— Может, завтра и самим рядком лечь. Разве в этом дело?

— Не бери ты, Шура, душу себе и мне! Ну, растреложил тебя михайло и меня растреложил.— Гызин заморгал жалостно, глядя поверх кустов, совершенно расстроившись и забыв о том Гызине, который вдохновенно метался возле пушки и огрел невинную зверину, выпачкав его морду банником, черным от пороха и склизким от кипящей смазки. Вспомнилось даже, как зверь глупо облизнулся и тут же отфыркнул брезгливо черное пушса-

ло, а он, Гызин, про себя или вслух, вроде бы вслух, заорал: «А-а-а, не глянется тебе наше угощение! Не глянется?!» — и банником медведя, банником...— Закапывать давай,— тихо и повинно вздохнул Гызин,— я так упехтался за день — руки-ноги отымаются. Месту рад.

Солдаты принялись забрасывать зверя размоченной черной землей. Под остро наточенными лопатами хрустели коренья трав, дудок и смородины. Когда над зверем вырос свежо чернеющий бугор и артиллеристы, еще раз попив зуб ломящей водицы и умывшись из ключа, утирались подолами рубах, Кушаков сказал примирительно:

— Мартышкин труд! Лисы разроют. Воронье склюет. Мыши источат.

— А это уж не наше дело, Шура. Круговорот природы...

Кушаков покачал коротко стриженной головой: «Круговорот! Ах, люди, чего только не напридумывали, чтоб оправдать себя, обелить...»

Над лесом неуверенно восходила настороженная луна. Отблеск ее пробно шевельнулся в воронке ключа и ртутью покатился по желобу. Впадина ключа, над которой сомкнулся кустарник, сделалась тенистой, холм затемнел отчетливей среди белой травы. В овраг потянуло гарью из леса. Горел многолетний слой хвои и листьев, огнем выедало древесный прах из корней и развилок. Иное дерево занималось от земли, и огонь рвался вверх, вспыхивал шапкою, распадаясь красными ошметками. Лес никто не гасил. Пожар этот казался людям, занятым хлопотами и подготовкой к завтрашнему бою, игрушечным, нестрашным. Когда совсем уж ярко вспыхивало, где-то начинали беспокойно ржать и топать кони, шарахались слепые от огня птицы, со стороны противника летела в огонь строчка трассирующих пуль. Щелкая

по ветвям дерев, сыро чмокая, пули входили в мягкую плоть стволов или взвизгивали, срикошетив, и опадали искрами в овраг, где спали, прижавшись друг к другу, два уработавшихся за день солдата, и ничего они, никаких выстрелов не слышали, пожаров не чуяли, снов не видели.

МЕДВЕДИ ИДУТ СЛЕДОМ

Первые дни нашего пути на Кваркуш были мукой. Телята, которых мы гнали на пастбища, разбегались во все стороны, скрывались в лесу, хватали чахлую траву, обкусывали сочные побеги рябин. Их безжалостно лупили, а они, задравши хвосты, носились по тайге и до того уматывали нас, что к вечеру мы с ног валились.

Дорога пошла совсем одичалая, захламленная, темная, по глухой и сухобокой тайге, в которой росли папоротники, черничник да брусничник, поляны с травой исчезли, лишь по ложкам да по берегам ручьев вздымался реденько дудочник и ершилась черствая осока. С телятами нам тут вовсе не управиться, решили мы, тут они нас в гроб загонят — идут несколько дней, оголодали, изнурились, и невозможно будет выгнать их из чащобы. Но неожиданно телята усмирились и, не то чтобы отлучаться в лес, отстать боялись друг от дружки. Задержится какой бычок отщипнуть ветку либо с корнем ягодник выдрать, а сам тревожится, переступает, вскидывает голову: далеко ли стадо ушло? Покажется бычку далеко, замычит и неуклюже, вприпрыжку бросится догонять телят, догнавши, толкается, норовит забиться в середку стада. Вьючные кони, тоже вольно державшиеся в первые дни, шли впритирку, уткнувшись мордами чуть ли не в хвосты передних, передние то и дело фыркали, вострили уши, трясли головами, звякали удилами уздечек, вздрагивали кожей при каждом шорохе в глуби тайги, словом, шибко сторожились.

— Что это значит? — поинтересовался я.

— Медведи,— ответил старшой нашей команды,— медведи идут следом, и только зазевайся...

Я начал озираться вокруг, всматриваясь в густолесье, силясь увидеть этих самых медведей. Старшой рассмеялся и, убивая дорожную скуку, стал рассказывать о чудесах и дивах, случавшихся во время прежних перегонов скота.

Уральские альпийские луга цветут и зеленеют на огромной вершине Кваркуш в соседстве с тундряными ягельными полянами. Ходу со скотом на Кваркуш от последнего населенного пункта — пять-шесть суток. На альпийских лугах мясной скот летом давал до килограмма привеса в день, если траву подсаливать — и того больше. Скот на отгонные пастбища шел дорогой, просеченной переселенцами еще в тридцатые годы, и дорога эта так задичала, что по пути к пастбищам и обратно скот терял то, что приобретал, являясь в колхозы при «своем интересе», как выражаются картежники.

Правления нескольких колхозов спорили меж собой, кому высылать бригаду с бензопилой и трактором, чтобы растащить завалы, сделать осеки для ночевки и расчистить поляны в лесу хоть для маломальской подкормки скота. Споры и распри закончились тем, что скот совсем перестали гонять на выгодные пастбища, потому как стада теряли в пути не только вес, но несли и поголовный урон, ломали ноги в завалах, вытыкали глаза, пропарывали брюшины, падали от истощения и становились добычей медведей. Зимовать на северных поднебесных хребтах Урала медведям холодно, снега тут глубиной до девяти метров — задохнешься под ними. Пожировав в благую летнюю пору на безлюдных вершинах, медведи вместе с наступающей осенью спускаются вниз, к предгорьям, на зимовку.

Как только начали гонять колхозные стада на альпийские луга, умный зверь мигом сообразил: надо идти следом — всегда какой-никакой харч перепадает, у табора люди непременно насорят, забудут или утеряют что-нибудь, но главный интерес и надежда главная у косолапых на падеж скота. Раненых и подсекшихся в пути телят перегонщики докалывали и поднимали мясо на лабаза, чтобы забрать его на обратном пути. Медведи стекались к этим лабазам, поводили носами, облизывались, шатали деревья, подкапывали и перегрызали коренья, словом, правдами и неправдами добывали мясо. С отставшей или заблудившейся в лесу скотиной косолапые управлялись и того проще.

В нашем отряде народу много — шестнадцать школьников, четверо взрослых. Хватало людей на ночные дежурства, на шум, крик и охрану вверенного нам колхозного стада в полтораста голов. Ночами вокруг табора полыхали костры. Старшой — бывший фронтовик — тревожно вслушивался в леса, сомкнувшиеся вокруг нашего табора.

— Бродят, бродят, подлые!..

Казалось, понарошке попугивает нас старшой, чтобы еще бдительней мы были и от табора никуда не отдалялись.

В заброшенном переселенческом поселке мы загнали скот в дощаной сарай, у которого обвалилась задняя, от леса сопревшая стена. Старшой приказал забрать ее досками, чтобы медведи не вломились. Тогда уж все развеселились — старшой в самом деле дурачит нас. Каков же, однако, был переполох и изумление, когда средь ночи стадо наше подняло рев, а товарищи мои — пальбу из ружей. Вернувшись с фонариком от сарая, старшой сообщил, что медведи таки оторвали доски, обвалили на живульку слепленную стену, но задрать никого не успе-

ли, только оцарапали одного бычка. С ним, с этим бычком, уже случалась беда — он попадал в каменный «капкан», задрал чулком кожу на ноге, и вот еще глубокие, запекшиеся царапины на стегне, в которых роится мухота, липнет к ним сор. Дойдет ли?

На пятые сутки мы поднялись к первой поднебесной поляне и не вздохнули облегченно, не заорали «Ура!», а сделали два вялых дуплета из ружья в честь того, что довели стадо без потерь, и повалились спать, пустив телят и коней пастись в сочную, белопенную от цветущих морковников траву, страшась лишь того, чтобы скотина не объелась.

Выспавшись и придя немного в себя, мы осмотрелись — долго синел впереди Кваркуш. И вот мы наверху. Простор такой, что взгляда не хватает. Простор холодный, безмолвный, по всему хребту останцы, будто развалины вымерших городов. И чем дальше, чем выше, тем белее вершины, тем гуще прожилья вечных снегов. Худые, скособоченные, изверченные стужей леса крались по распадкам, достигая вершин, взбирались на сопки и останцы, но здесь останавливались, застывали, стуча под ветром окостенелыми сучками. Однако же, приглядевшись, заметишь ниже культяпистых, часто сломленных бурею вершин и живые ветки, по-птичьи распластавшиеся по земле крыла сизой пихты, березу с горсткой черствых листьев, в заувее, меж скал, реденькую, чахлую, кособокую стайку елей или сиротски жмущиеся друг к дружке шумливые осинники, средь серых камней и сухостоин малахитово светились кисточками кедры. Отсюда, с Кваркуша, пастухи увозили березу на топорища, делали заготовки для полозьев саней, пилили кругляши на обувную шпильку: дерево, испытанное здешним климатом, так крепко, что поделкам из него не было износу.

Вид высокогорных лесов напоминал русских вдов, надсаженных войною; плоть деревьев, которую не брал острый топор, делала это сходство еще более полным.

Все цвело на альпийских лугах как-то избирательно: то вся поляна, синяя от мышиного горошка, то сдобно-кремовая от первоцвета или небесно-голубая от незабудок. И только крап заблудившихся растений, чаще всего белых розеточек подснежников, морковника, луговой чины либо алых, приподнятых маков, красиво пятнал одноцветные поляны, о которых ребятишки, как увидели, сразу спросили: «Кто же здесь цветы посеял?»—«Природа»,— заявил старшой. А пастух Устин сказал: «Бог!»

Подкормив стадо, мы сделали последний переход к поляне, названной пастухами довольно-таки современно: «Командировка».

Принявши скот, пастухи похвалили нас: мол, с ребятишками гнали, но никакого в стаде урону, а вот шестеро взрослых головотяпов пригнали стадо и потеряли в пути двадцать голов скота. Рыскают сейчас по лесам перегонщики, ищут скот — дело-то подсудное. Но мало чего найдут — уж больно много после тех перегонщиков порожних бутылок вокруг кострищ валялось.

В честь удачно завершенного дела ребята наши натопили баню, оставшуюся от переселенцев, мылись там, стегая друг дружку вениками, выбегали нагишом на улицу и с визгом бухались в ледяную воду речки Цепёл, падающей с тундряной горы. Мы выпили спирта с пастухами, сидели на крыльце избы, курили, хохотали над парнишками, песни пели, в цель стреляли и в фуражки, которые охотно подбрасывали ребята. Спать легли поздно, так как ночи здесь уже не было, накатывал лишь морок и вовсе уж оглохлая, вроде бы даже густая

тишь, в которую среди лета, сказывали пастухи, гнус заедает насмерть все живое.

Проснулись и увидели возле печки пастуха Устина, долговязого, тощего мужика. Он хлебал жидкую кашу из котелка, глядя куда-то в пространство обиженно и скорбно.

— Беда, робята,— сказал он, дохлебав кашу,— мохнорылый задрал бычка. Мне платить...

Все ссыпались с печки, с нар, бросились на улицу, будто могли еще поправить беду, и были ослеплены яркой белизной: ночью выпал снег. Мягкий, липкий, пушистый, он оседал последними хлопьями. Темная, синюшная туча волокла плотную его массу к северным недвижным хребтам. Плывя торопливо, срезанно, дальние вершины выныривали все реже, реже, пока вовсе не затонули во вспененных, круто двигающихся волнах. Но это там, на севере, в дальней дали. А здесь, на Кваркуше, обмерло все, остановилось, стихло. Низкие облака заполнили расщелины гор, недвижно лежали на верхних беломощных полянах, лепились к чахоточно-серым лесам, пластами висели над всем хребтом. Сплошной капелью заполнило мир. Со стлаников, сдавленных снегом, с худых деревцев, с крыши старой избы, с бани, с камней, с каждой веточки, былки и листочка сочилось мóкро, из разложин густо повалил пар, заполняя сонной зяблостью округу.

Наше становище располагалось на склоне поляны, сплошь заросшей желтой купавой. Стебли и листья цветков завалило снегом, головки купав светились лампадками на немыслимо белом и ярком пологе. И чем дальше по склону, тем гуще было свечение. Ближе к небу седловина сплошь была охвачена желтым заревом — казалось, свершилось всесветное чудо: небо, усыпанное звездами, опрокинулось, и мы боязливо ступали по нему,

податливо-мягкому, боясь провалиться в тартарары. Было так дивно, сладостно и жутко, что я еще раз — в который уж! — осознал бессилие слова перед могуществом и красотой природы. Не верилось, что в такой благостной тишине, среди такой красоты могла быть смерть, жестокость и вообще какая-либо напасть.

Не один, не два человека, сотни людей, обманутые чарами здешней красоты, блуждали в низко павших, беспросветных облаках, погибая медленно и мучительно от пронзающей душу и кости сырой стыни, средь цветущих лугов, до конца веруя — при такой красоте не может быть места смерти.

Меж тем всего лишь в полверсте от нашего стана, где вечером были шум, крики, песни и пальба, в размешанном, буром от крови снегу лежал задранный теленок, точнее, передняя его часть. Из мятого, спруженного и опятнанного снега торчала перекушенная лопатка — почему-то запомнилась вперед всего она, выдранная с мясом, раскрошенная в щепу, потом уж заметил я разорванные внутренности с вытряхнутой из них свежей поедью — бычок, тот самый, что повредил в пути ногу и был уже цапан медведем, отощал в дороге, нахватался мокрой травы, его сморило, и он прилег возле кустов.

Медведю за всю дорогу на высокий Кваркуш мясного не обломилось. Он заголял травяной дерн, крушил валежины, пни, выедая жуков, червей, мышек, пожирал муравейники вместе с сором. Но что за пища этакой зверине — букашки да муравьи! Он шел с терпеливой верой и надеждой на добычу основательную, горячую.

И дождался своего часа.

Прыгнув из-за куста, медведь убил бычка разом, без возни. Дыры от когтей кровенели выше губ бычка, на

войлочно-сером храпе. Второй лапой зверь вцепился в загривок бычка и переломил его лен. Осязаемо слышалось, как хрустнула лучиной шея бычка, небось не успел бедняга ни испугаться, ни замычать.

Зверь был голоден и от голода бесстрашен. Он не уволок тушу телка в кусты, тут же, где убил, единым духом сожрал половину и только тогда уж попробовал тащить оставшуюся часть добычи. Проволок половину туши метров полтораста, соря по снегу ошметья стылой крови, алые телячьи косточки, растягивая веревками зацепившиеся за коренья кишки, и, выдохнувшись, оставил мясо, едва прикопав его мохом и грязью, выдранными из-под снега,—отяжелел от жратвы косолапый, залег где-то поблизости, сторожа свою добычу. Зверь сильный, наглый, но беспечный — такому здесь не прожить.

К полудню, вызванные Устином, прибыли на наш стан оленеводы с двумя собаками. Старший, давно не стриженный Матвей, сходил к месту происшествия и, вернувшись, попросил чаю. Чай и каша были мигом разогреты. Оленеводы пили чай кружку за кружкой, хрумкали сахар, утирали пот рукавами рубах, расспрашивали про жизнь там, «у нас», про медведя и не поминали. Ребят сжигало нетерпение, но они не смели надоедать гостям, пробовали задобрить их собак, бросили по кубику сахара.

— Нейзя! — остановили ребят оленеводы.— Собак баловать нейзя.

Собаки и не брали сахар, гладить себя тоже не позволяли. Похрапывая, они приоткрывали губы над частоколом острых зубов, как только к ним протягивали руку.

Опорожнив полведра чаю со свежей заваркой, гости покурили городских сигареток, поплевывали под ноги, поглядывая за окошко. Раз-другой мелькнуло солнце в

разводах поднявшихся облаков и вдруг умыто, празднично засветилось над избушкой. Облака, всосав в себя пар из ущелий, лесов и стлаников, катились круглыми снежными бабами под гору, к подножию хребта, к жилым местам, чтоб налить соком травы, леса, поля. Все таяло, все плыло вокруг, и снова пространственно-синенькое небо, обласканное помолодевшим солнцем, светилось над нами.

— Ну дак пошли, что ли? — буднично сказал младший оленевод и поднялся с крыльца.

Собаки вскочили с завалинок, где они лежали, скрывшись от капели, покорно подставили головы, чтоб с них сняли ошейники. Освободившись от поводков, они не затявкали, не помчались куда попало, не запрыгали, как городские шавки,— кобель на угол, сука за баней степенно помочились, катнулись в мокром снегу, отряхнулись и замерли в отдалении, ожидая приказаний.

Мы вооружились кто чем. Мой товарищ — фотоаппаратом, старшой и пастухи — ружьями, ребятишки — палками.

— Собак не перебейте,— оглядев все воинство, серьезно предупредил Матвей,— собаки — золото, медведь — дерьмо! — и пошел вперед косолапо, усадисто. Мы за ним. Парнишки, напряженные, подобранные, бледные, сзади.

— Ну, как тут, не мокро? — пощупал одного парнишку младший оленевод за латаные втоки и потряс головой, засверкав узенькими, смеющимися глазами: — Уй-вуй-бы-ыыыр! Страшно!

Парнишки вежливо посмеялись. Мы тоже. Обогнав хозяев, собаки приблизились к задранному бычку и сначала медленно, затем все убыстряя ход, закружились возле туши, тычась носами в снег, в грязь. Ноздри со-

бак, сырые, чутко вздрагивающие от напряжения, работали, посипывая, вычихивая что-то их раздражающее, едкое, все заметней поднималась шерсть на загривках псов. Доверительное почтение вызывали мансийские лайки — они уж не подведут человека, сделают свое дело верно, достойно, и никакому зверю от них никуда не деться. Забирая все шире круги, отклоняясь дальше к стланикам и мокро чернеющему за ними реденькому лесу, лайки взвизгнули, будто одновременно наступили на острое, и пошли по направлению распадка, белеющего впадиной средь леса. Еще раз, уж мимолетно, мы увидели лаек в отдалении, на пестро вытаявшей поляне. Псы шли челночно: сука — влево, кобель — вправо, через какое-то время встречались и, вроде бы не замечая друг друга, расходились по сторонам. Без шума, суеты, уверенно шли собаки к зверю. Чувствовалось, вот-вот они его поднимут, сердце в груди заранее холодело, томилось и обмирало.

Звонко и очень уж домашне, с простодушно злым и в то же время радостным ликованием вскрикнула сука, ровно бы найдя пьяного мужа под забором: «Так вот где ты, бесстыжая харя, валяешься!»

Сшибая с перевитого стланика тяжелое мóкро, ринулся на ее крик кобель, забухав на ходу срывистым лаем. Кусты стлаников дрогнули, зашевелились, затрещали, рухнул с них намокший снег, раздался храп, поднялась яростная возня — кобель кого-то рвал или кобеля рвали? Сучка, взрыдывая, давясь собственным голосом, билась в кустах, помогая кобелю. Зверь не хотел выходить из густой шараги, видно, понимал: пока он тут — собаки ему не так страшны и никто его здесь не пристрелит.

— Я говорил, далеко не уйдет,— повернулся Матвей к молодому оленеводу,— обожрался! Мясо бро-

сить жалко! — И, поощряя собак или напоминая о себе, загулькал, валяя язык во рту: — Ур-лю-лю-лю-у-у-у.

Кобель, будто колуном рубанув, ахнул в ответ, сучка совсем уж по-бабьи залилась, зарыдала. Зверь, судя по извилисто заметавшейся молнии, по сталисто отблескивающим и тут же отемняющимся кустам, стронулся, не выдержал натиска собак.

Матвей снял ружье с плеча, взвел курки, скользнул по нас беглым взглядом, лицо его отвердело, скулы как бы круче сделались, челюсти проступили резче. Переглянувшись со своим молодым напарником и что-то ему взглядом сказав, он выдвинулся вперед шага на три, приказав нам жестом оставаться на месте.

И в этот миг все мы увидели черное, на человека похожее туловище, вылетевшее из кустов и ударившееся бежать вниз по пестрой поляне. Но за «штаны» его теребила мокрая и оттого казавшаяся совершенно махонькой и ничтожной по сравнению со зверем сучка. Со всех сторон наседал на отмахивающегося медведя кобель, так что уж сдавалось, будто кобель не один, а по меньшей мере их три. Собаки теснили зверя в нашу сторону, но он догадывался, что его здесь ждет, сопротивлялся, пробовал снова заскочить в кусты, делал броски туда, сюда, кружился на месте, к нам не шел, однако в другое место его не пускали собаки, то и дело поднимающие медведя с четырех лап на две. Были они, эти задние лапы, коротки, ровно бы в низко спустившихся галифе, которые мешали зверю шагать.

«Ау-мау-оррх!» — утробным голосом взревел медведь и беспомощно сел на размешанный грязный снег. В нелепой его позе, в бесполезном обмахивании лапами, в бросках, хотя и резких, но уже усталых, почувствовалась обреченность, в голосе — отчаяние.

Собаки неумолимо пятили зверя под выстрел. Ребятишкам велено было отойти к кустам, что они тут же и охотно исполнили. Мой товарищ держал наизготовке фотоаппарат, старшой — ружье. Я видел и слышал, как дрожал и чем-то позвякивал фотоаппарат, ружья у пастухов не качались, прямо-таки зыбались в руках. Медлительные оленеводы с неожиданной проворностью разбежались на стороны. Матвей вскинул ружье, крикнул что-то собакам, они отпрянули от зверя, и без промедления один за другим раздались два выстрела.

«Ау-мау-оррх!»— совсем уж мучительно, показалось, даже раскаянно не проревел, а пьяно выхаркнул медведь и в последней попытке рванулся к кустам, но что-то отяжелело в нем; зверь все же осилился, поднял себя и, уже не отбиваясь от собак, вроде бы и внимания на них не обращая, слепо метнулся с поляны. Молодой оленевод упал на колено, ружье его деловито булькнуло. Эхо не откликнулось в горах и расщелинах, выстрел не раскатился по хребту, пуля, вроде бы ощутимая слухом, вошла в мягкое и завязла. «О-ооо-оу-уххх!» — длинно, со скорбным облегчением выдохнул зверь, подрубленно валясь на землю. Скомканно закаталась темная туша по размешанному снегу. Зверь лапами выдирал траву, выцарапывал и переламывал коренья, ломал о камни железные когти. Собаки, беснуясь, крутились на нем с ожесточением и торжеством, рвали зубами медвежью шерсть, захлебывались ею. Зверь дергался все отрывистей, судорожней, реже и, наконец, перестал вовсе шевелиться, только из глубины его, из чрева, набитого мясом бычка, ровно бы задевая ребристое горло железной цепью, катился рокот, утишаясь хрипом и сиплым стенанием, да в медленно угасающих, но все еще осмысленно глядящих глазах оставалось понимание смерти и несогласие с нею.

Мы подошли к убитому зверю. Его горячая пасть еще парила, по снегу и траве, дымясь, расплывалась кровь. Морда зверя по глаза измазана сукровицей и зеленой поедью телка, под когтями засохли грязь и кровь — не успел обиходить себя медведь, обжорство его свалило в сон, а вообще-то он зверь чистоплотный.

— Что же вы не дали стрелить?

— Фотографируйтесь! — посмеиваясь, сказал Матвей и, вынув из ножен сточенный нож с незамысловатой деревянной ручкой, перехватил горло зверя.— Сами убили, скажете. Поверят!

— Мы не выдадим,— тоже посмеиваясь, добавил молодой оленевод и, свежуя зверя, серьезно уже пояснил, кивнув на унявшихся, зализывающих себя псов: — Постреляете нечаянно. Что мы здесь без них?

Вечером был пир на весь поднебесный мир — мясо по выбору: кто хочет медвежатины — пожалуйста! Сами добыли! Кто хочет телятины — знай рубай: медведь порадел. Кто хочет птичинки — лакомься: оленеводы на пути к нам четырех куропанов сшибли.

Оставались у нас еще две бутылки спирту. Мужики его разбавили, угощали гостей, хвалили их. Они посмеивались, слушая нашу болтовню и песни, которые во всю головушку ревели ребятишки-пастушата, возбужденные таким бурным ходом жизни.

Поздней ночью гости уехали к своему стаду оленей.

Утром мы проснулись и видим: Устин опять чего-то хлебает, опять обиженно глядит в пространство и, гундося, извещает:

— Беда, робята!

— Снова задрал?

— Не задрал покудова, но собирается...

«А как же тогда вся эта ваша вера, что у каждого

медведя свой район промысла?» — хотелось спросить у пастуха, да ему не до споров было.

Еще когда мы выходили на Кваркуш, увидели до болони оцарапанные, в занозы исполосованные стволы дерев, и старшой наш объяснил: восставшие из берлог медведи обтачивали о дерево за зиму отросшие когти. Один из наших спутников его оспорил: дело, мол, не только в обтачивании когтей, таким, мол, образом медведи отмечают место своего обитания, рост свой — чем выше царапины на дереве, тем-де я могучей, значит, бойся меня, на пути не попадайся.

— Так оно, поди-ка, так,— кивали головами оленеводы, когда их спросили об этом, но не понять было: подтверждают они такую теорию или относятся к причудам зверей так же, как и к домыслам заезжих людей, со снисходительным почтением, храня, однако, в себе им лишь известный, а нам недоступный да и ненужный смысл и тайну всего сущего в жизни древней и загадочной тайги.

Позднее от других охотников слышал я, что в обжитых российских лесах, где медведя мало, а корму, в том числе и хлебного, много, он утратил сторожевую привычку. Но северный, горный медведь живет по другим, более суровым и жестоким законам. Если он за лето, которое тут совсем коротко, не нагуляет жира, то останется шатуном или иссохнет зимой в берлоге. Означенный когтями рубеж не всегда действовал устрашающе, и возле «хозяина», более сильного, ловкого, пасся «приживала», доедая после него остатки дохлятины, потихоньку воруя и пакостя. Постепенно такой вот «приживала» делался хитрей, ловчей и коварней самого «хозяина». Не раз и не два видели люди, как смертельно дрались северные медведи, и случалось, молодой зверь изгонял старого, может, своего родителя, с набро-

женных, кормных владений в малодобычливые места.

Мир диких животных так сложен, загадочен и многообразен, что человеку-властелину лишь кажется, будто он все про них узнал,— это одно из многих, пусть не самых тяжелых, но и не самых простых заблуждений людей. Вон даже оленеводы ошиблись — они заверили на прощание пастухов: до следующего года вокруг «командировки» будет покой, а меж тем косолапый бродит, караулит момент, чтоб наброситься на скот,— не воскрес же тот, которого мы сварили и съели, шкура его висит в предбаннике, синея тремя пулевыми дырами, лапа, привязанная за слегу, болтается на ветру, показывая почти человеческую стопу, только очень уж грязную и бескостно-пухлую.

Устин, кончив хлебать, поднял костлявый кулак к черному потолку и поклялся:

— Я не я буду, если этого мохнорылого не угроблю сам! — И принялся заряжать пули. Очень уж легко и просто свалили зверя оленеводы, пастуху казалось, что и он тоже маху не даст...

На ночь Устин отправился караулить медведя к тому месту, где оставались еще от задранного бычка кости и потроха.

Снег сошел. Поляны цвели еще гуще и ярче. Золотые купавки, было сникшие и повернутые головками в одну сторону, выпрямились, круглились на стеблях. Птицы налетело густо. В камнях керкали куропаны; над избушкой тянули вальдшнепы; жужжали крыльями бекасы; всюду пиликали кулики; в междузорье еще токовали глухари; по болотам гукали выпи и крякали утки.

Устин совсем печальным и нервным сделался — зверь бродил вокруг дохлятины, кряхтел, ухал, один раз даже будто бы запустил гнилым пнем в Устина, но под выстрел не шел.

— Робята, попасите за меня! — всхлипнул посинелый, мокрый, еще тощее сделавшийся Устин и замертво свалился на нары.

Ребятишкам нравилось гарцевать на лошадях, скакать вперегонки — скот, пригнанный на горные пастбища, быстро нагуливал тело, сбрасывал усталость, наливался силой. Гнуса еще никакого не было, и скотина чувствовала себя, словно на курорте, может, еще и лучше.

Устин проснулся через час, уставился ввалившимися глазами в грязное окно и, царапая под рубахой ногтями, сказал, что сна ему нет и не будет, пока он «не встренется с им», и зачем-то спросил у нас бритву. Он правил бритву на ремне возле окна, а наша шумная орда гоношилась возле огня, варила кашу с мясом, кипятила чай со смородинником. Ребятишки, да и все мы хорошо уже отдохнули после трудного похода, отъелись мясом и налаживались в обратный путь. Пастушата, оставив стадо на краю поляны, пустили коней и тоже явились к костру, дурели возле него, возились. Взрослые, как водится, их поругивали. Они, как водится, не обращали внимания на взрослых — это почему-то раздражительно действовало на Устина.

— Опрокиньте котел, опрокиньте!.. — выскочив на крыльцо, заругался он на ребят и хотел добавить: «Я вот вас вицей, окаянных!» — да не успел: вдали раздался топот, земля задрожала, и мы увидели мчащихся коней с разметавшимися гривами, задранными хвостами. Седло упало под брюхо одного мерина, стремена бренчали, щелкали о каменья подковы, поддавая еще больше страху и без того обезумевшим лошадям.

— Ба-а-атюшки мои! — схватился за голову Устин.— Прячьтесь! Прячьтесь! — панически взвизгнул он и сам юркнул в избу.

Кони пастухов с растворенными, оскаленными ртами и вытаращенными глазами промчались мимо нас, брызгнули копытами по речке и скрылись. Следом летели наши, подбитые в пути, вьючные коняги. Фыркая, пришлепывая губами, перла, не отставая от них, кобыла Денисиха, о которой решался вопрос: оставлять ее тут до осени или брать с собой — так она ослабела и подносилась за дорогу.

Конский топот, звяк удил и стремян не успели утихнуть, как накатил на «командировку» громовой топот и гул, и животный, вот именно животный, ни на что не похожий рев, плотность которого разрывал какой-то совсем уж придавленный, блеющий крик мольбы. Мы увидели колобом катящегося по поляне темношерстного медведя, и тут только догадались, что так вот, по-дитячьи, кричит он, брызгая мыльной пеной. Глубокая, широко распахнутая пасть медведя, издающего жалобный крик, накатывающийся грохот навели на нас такой ужас, что мы захлопнули дверь избы и дружно схватились за скобу.

С трубным гудением, чугунным стуком пролетело мимо избушки стадо, опрокинуло котел с варевом, ударило ведро, уронило вилы, грабли, попутно своротило предбанник с медвежьей шкурой, в ней висящей, прогромыхав по каменному дну речки, скрылось вдали. Опасливо выглянув, мы увидели, как за баней буйной толпой, взухивая, ревя, кашляя, бычки и выбракованные на мясо недойные коровы вспарывают, катают и подбрасывают рогами темную тушу медведя, словно большой тряпичный мяч. С крыльца избушки видно втоптанные в грязь прутья стелющихся тальников, сваленные и расщепленные деревца, вывороченные камни, выбитые цветы, дудки, травы — вся поляна будто вывернута темным наружу. Задрав хвосты, грязные, с налитыми кровью гла-

зами, носились по хребту те самые бычки и коровы, которых мы лупцевали прутьями на пути к Кваркушу.

— Боже упаси,— предупредил Устин,— попасть сейчас скотине на глаз! На рогах растащат! — И сокрушался о лошадях: могут со страху загнать себя до смерти — они-то знают, как страшна скотина, в которой просыпается сотни лет дремавший дикий зверь.

Коней на другой день пригнали к нам оленеводы. Медведя, истыканного острыми рожками молодых бычков, распоротого кривыми рогами коров, втоптанного в грязь, размичканного, они и смотреть не пошли. Усевшись за чай, они пояснили нам, что медведь этот не мог отобрать мяса у того, что мы убили: силы нету. Добыть телка тоже не удавалось — скот сделался осторожен. И тогда решил косолапый взять стадо на испуг, ворваться в него, наделать панику и под шумок добыть свеженинки. К такому наглому «шарапу» чаще прибегают волки, но вот и медведь решился — дурак скребет на свой хребет!

— Ну, а теперя-то уж все или их табун тута, ведьмедей-то? — спросил нахохленный Устин.

— Кто знат? Кто знат?..— покуривая да поплевывая, щурили узкие глаза гости и затяжно вздыхали: — Тайга, парень, тайга...

Успокоившиеся, снова смирные, тупые с виду, паслись бычки и коровы на полях, поднимая головы, замирали с пучком травы во рту, вслушиваясь в тишину гор и редколесий. Долгим, покойным взглядом провожали они наш отряд в обратный путь.

Кони навострили уши, затревожились, сбили шаг возле болотца. Из поваленных кустов, где валялся растерзанный зверь, взмыл тощий коршун. Ушли в камни, мелькнув лоскутьем облезлой шкуры, вороватые песцы и лисы. Денисиха, подкинув мослатый зад и грохнув

вьюком, в котором были ведра, котелки, ложки, перескочила через мокрую бочажину, фыркнув, наддала ходу. «М-мму-у»,— дружелюбно промычал пестрый бычок и потащился было за нами, но скоро отстал, провожая отряд сытым, полусонным взглядом.

Обомшелая, древняя тишина снова охватила горы, на которых торопливо, ярко полыхали многоцветьем альпийские луга. От цветов и белеющего рядом с ними вечного снега воздух был прозрачен, сладок, и так все вокруг покойно, величественно, что снова вселялось в душу блаженное успокоение и не верилось, что может свершаться в таком прекрасном мире что-нибудь коварное, жестокое, смертельное.

ЖИЗНЬ ТРЕЗОРА

Пестрый кобель с круглыми лапами и сонной мордой врастяжку лежал поперек крыльца, обязательно поперек, чтобы кто ни шел — за него запнулся, и он следом прорвался бы в избу. В жилище Трезор сразу забирался под стол, вольготно там растягивался; если на него ставили ноги сидящие, наступали на широко разбросанные лапы, он подскакивал, бухался башкой в столешницу и дико взлаивал: «Э-э, товарищи, не забывайтесь! Я здеся!»

Ел Трезор из старой эмалированной кастрюли. Посуда — одна на всех животных, обитающих в дому: трех кошек и его, Трезора. Засунув морду в кастрюлю, пес выбирал что помягче, повкусней. Кошки терпеливо сидели вокруг и облизывались, не смея потревожить трапезу господина. Если какая из кошек совала морду в кастрюлю, Трезор изрыгал рокот — такой гневный, что кошки бросались врассыпную.

— Ну, нечистый дух! Тигра и тигра! — кричала хозяйка.

Трезор вопросительно глядел на нее.

Просыпался он и нехотя вылезал из-под стола после полудня, когда хозяйка начинала собираться в магазин,— работала она на телятнике и еще торговала в магазине. Стоял на крыльце магазина Трезор, бухал на всю округу лаем, словно в колокол бил: «Спешите! Спешите! Открыто! Открыто! Открыто!» — меж ног покупателей пробирался в магазин. Если же не было таковых, лбом

отворял дверь и останавливался перед прилавком в ожидании.

— Куда тебя денешь? — говорила хозяйка.— Заработал — получи! — И бросала Трезору кусочек сахара, колотый пряник либо мятую конфетку.

Скушав угощение, Трезор или засыпал возле дверцы топившейся печки, или снова выбредал на улицу, потягивался, широко, со сладким воем открывая пасть, и отправлялся заедаться на брата Мухтара.

Мухтар был мастью и статью вылитый Трезор, но характером совершенно от него отличался. Если Трезор отпетый тунеядец, хитрован и увалень, то брат его, наоборот, был трудолюбив, особенно на охоте, строг, сердит и потому сидел на цепи. И горька же ему, вольному, стремительному, подтянутому телом, быстроногому, была такая жизнь. А тут еще братец явится и ну рычать, ну разбрасывать снег лапами, иной раз до земли докопается, весь столб обрызжет, полено в щепки изгрызет, показывая, как и что бы он сделал с Мухтаром, если б захотел.

Мухтар на все это издевательство отвечал свирепым хрипом, рвясь с цепи, душился до полусмерти, глаза его кровенели, изо рта сочилась пена, и, случалось, рвал ошейник или цепь — и тогда бело-пестрый клубок из двух кобелей катился по заулку, разметывал сугробы, ронял поленницы, сшибал ведра, ящики — так пластали псы друг дружку, что разнять их было невозможно.

Раскатятся, разойдутся на стороны братья, полежат, оближутся, отдышатся и снова: «Р-р-р-р, ррр-ра, ррр...»

Схватки чаще всего случались зимой, от скуки, должно быть. Надравшись до изнеможения, до полной потери сил, кобели надолго успокаивались и, если встреча-

лись, воротили друг от друга морды, брызгали на столбы, издали предупредительно рыча: «Ну погоди, гад! Погоди!»

Летом Трезор совсем ни с кем не дрался. Он был совершенно поглощен заботами о сладком пропитании, которое научился вымогать у приезжих из города ребятишек, сердобольных тетенек. В то время, когда брат его Мухтар плавал по реке следом за лодкой хозяина, шастал по берегу, кого-то отыскивая или раскапывая, караулил, и строго караулил, нехитрое имущество рыбаков, Трезор, начиная с крайней избы, обходил деревушку. Он садился против ворот или перед открытым окном и ждал, когда ему дадут сахарку или какое другое лакомство. Если долго не давали, Трезор напоминал о себе лаем и в конце концов получал чего хотел. Неторопливо хрустя сахаром, Трезор облизывался и совал здоровенную свою лапу благодетелю либо ложился возле ворот и какое-то время «сторожил» добродетельных людей, двор их и хозяйство.

Норма его работы зависела от угощения: мало дали сахару — он и лежал под воротами недолго, а то и сразу убегал к другой избе; и так по два раза на день происходил обход и совершались поборы, при этом Трезор совершенно не замечал изб и дворов, где его не баловали подачками и когда-то прогнали, и пусть после раскаялись, пытались заманить — он деликатно уклонялся от приглашений.

Ближе к осени Трезор скучнел: городской народ разъезжался из деревушки, и каждую семью он провожал до автобусной остановки. Опустив голову, повесив хвост, плелся пес до дороги, со вздохом ложился в тенек: «Что поделаешь? Отпуск есть отпуск. Но помните, люди, у вас здесь остается верный и надежный друг».

Стоило, однако, автобусу удалиться за мосток, переброшенный через речку, исчезнуть за островком ельника, как Трезор завинчивал кренделем хвост, ставил уши топориком и с бодрым лаем возвращался в деревушку: «Протурил я, протурил этих дачников! Наповадились, понимаешь. Одно от них беспокойство...»

Осенью, перед октябрьскими праздниками, Трезор — полная всей деревушке любезность! Приближался забой скота: пир собакам, кошкам и птицам. Глянешь: возле какого-нибудь двора на тополях и черемухах осыпью вороны, сороки, галки; на колышках оград кошки окаменели, будто кринки на острие надетые. На земле Трезор лежит, уронив на лапы морду, все сосредоточенно и молчаливо ждут — стало быть, в этом доме, в этом дворе забили на мясо овцу, телку или бычка.

Обдерут хозяева скотину, уберут обветриваться мясо на поветь, уйдут жарить картошку со свежатиной — вся живность придет в движение: столбятся над двором вороны, отбирая друг у дружки поживу; суетятся и трещат сороки с окровавленным кусочком кожицы или крепкой жилой в клювах; шастают со свирепо горящими глазами кошки, шипя и фыркая друг на дружку. Трезор тоже с угощеньем в обнимку на поляне лежит — кость-то уж ему обязательно отломится, его никто не забудет. Иной раз и поспит возле кости, отдохнув, снова брюшками передних лап ее прихватит да неторопливо, с чувством, с толком грызет, развлекается.

Как-то раз уписывал он кость, скрежеща зубами, а с тополей на него смотрели жадные вороны, время от времени мешковато переступая и переговариваясь: «Это что же такое?! Жрет и жрет! Ни стыда ни совести! Оставил бы хоть маленько...»

Вороны срывались с деревьев, планировали над Тре-

зором, пугая его криком, пытаясь задеть когтями,— кобель и ухом не шевелил, грыз кость, белую, хрупкую, точно сахарок. И одна старая смелая ворона села прямо перед мордой Трезора, ждала, когда он забудется или задремлет. Мелкими шажками, будто по своим делам, ходила ворона возле жирующего пса, ворошила землю клювом, долбила чего-то, совсем уж подкралась, изловчилась хватануть у собаки косточку — да не тут-то было! Трезор начеку, сделал такой прыжок — чуть было ворону без хвоста не оставил!

Села старая ворона на ветку тополя, смотрела на Трезора, думала, думала и додумалась до большой стратегии — каркнула, приказав семейке следовать за ней; и начали вороны вокруг пса ходить-колобродить, подлетать и даже кричать на него. Кобелю взять бы кость да убраться подобру-поздорову под навес, так нет, он настолько обленился или таким считал себя умным и сильным, что никого и ничего не хотел признавать, и поплатился за это.

Старая ворона ходила-ходила возле песьего хвоста да ка-ак схватит его клювом, да ка-ак дернет! Пес не выдержал, вскочил и с лаем бросился на ворону. Шерсть дыбом, глаза яростно сверкают.

Ворона вроде бы испугалась, отлетела, вихляет крыльями, еще шага на три отлетела, качается от страха, клюв открыла бессильно. Трезору того и надо — он дальше за вороной погнался, вот-вот ее сцапает за хвост.

В это время воронья семейка и ограбила пса, схватив кость, и, то роняя ее, то снова подхватывая, вороны несли поживу Трезора за деревню, в огороды и закаркали там, закружились, деля добычу.

Трезор послушал, послушал и вернулся к тому месту, где грыз кость, нюхал мерзлую траву на поляне, когтями

царапал землю. Шерсть на нем опала, уши опустились на стороны, хвост распустился — ничего не мог понять пес: была кость — и нету! Куда девалась? А на жерди сидела мама-ворона и, дергая хвостом, орала: «Дур-ррак! Дур-ррак!»

Трезор побежал по деревне, распугивая ворон и сорок, надеясь, что где-нибудь да отломится ему кость, а где и мяса кусочек.

Прошлой зимой, глухой, метельной, длинной, Трезор и Мухтар бились особенно озверело. Мухтар почти выдрал Трезору глаз, порвал ухо, губы. Трезор прокусил у брата какой-то нерв на голове — и Мухтар быстро начал глохнуть. Сразу погас охотничий пес, распустился телом, стал ходить медленно, уши у него обвяли, хвост сделался мятый, неопрятный, с редким волосом. Старого, больного кобеля заменили новожителем — большелобым гончим щенком Дунаем, который скоро вымахал с колодезный сруб ростом и бухал лаем так, что старухи по домам с перепугу крестились.

А Мухтар исчез сам со двора: дострелил ли его, больного, никому не нужного, хозяин, ушел ли он сам умирать в лес — неизвестно.

Непонятное начало твориться и с Трезором. Он тоже разом постарел, закручинился, перестал принимать лакомства, гавкать, провожать хозяйку в магазин. Потом взял и совсем ушел из села верст за пять от своего дома, стал жить на скотоферме, спать на соломе, неизвестно чем питаться.

Хозяйка не раз бывала в соседнем селе, звала Трезора с собой. Он хвостом вилял извинительно, даже провожал ее за околицу, но на всполье присаживался, отставал.

— Трезор! Трезор! Пойдем, миленький! Пойдем домой!

Кобель в ответ сипло, старчески, безнадежно и горько взлаивал, словно бы говорил: «Не могу! Никак не могу. Простите!»

Может, за тем селом, за фермой Мухтар зарыт? Может, повернулось что в разуме Трезора? Поди узнай!

А без собаки тоскливо стало, деревушка вроде бы живую душу утратила, притихла, сделалась совсем сиротой.

ГЕМОФИЛИЯ

Я решил заночевать там, где вечером гонял рябчиков,— в крутом еловом косогоре, с боков обрезанном распадками, в которых выше человеческого роста плотно стояли бледная крапива, подсохший лабазник, молочай, вехотник и всякий разный дудочник, чуть только присмиревший от первых холодов, но все еще нагло зеленеющий, напористо растущий. В распадках густо клубился ольшаник и ивняк. По откосам ровными рядами наступали осинник, березняк, липа, но, упершись в плотную еловую стену, как бы ожегшись о раскаленную, огнем полыхающую полосу рябинника, окаймляющего зоревым ожерельем сумрачный хвойник, останавливался, покорно и согласно замирал, оттекая в вершины ключей, в сумрачную прель логов.

Взлобок косогора был почти гол, лишь вереск, боярышник да таволожник разрозненной, потрепанной в боях ротой наступали снизу, от реки, и чем далее в ночь, тем более походили кустарники, в особенности можжевеловые, на человеческие фигуры. Самым подолом, на край которого намыло и навалило камешнику, косогор уходил прямо в реку Усьву, за которой широко и медленно отцветала вечерняя заря, и ключи, выдавленные горой из моховых каменных щелей, слезливо всблескивая, расчертили поперек бровку берега, а сама река, словно бы вылитая в изложницу русла, остывала, покрываясь окалиной от земли, но в середине все еще переливалась, ярко мерцала последними красными отблесками пламени с седоватой просинью. Над поверхностью тяжелой

свинцовой воды поплясывал и все плотнее оседал остатний горелый воздух и жар.

Я еще засветло принес с берега Усьвы сена из стога, зачерпнул котелок воды, наломал прутьев смородинника, заварил, напарил чая, неторопливо поел, прибрался у огня и, навалившись спиной на ствол чадно пахнущей, плотно надо мной сомкнувшейся пихты, грел разутые ноги, нежил их, натруженные, со вздутыми жилами, и чувствовал, как отходит мое тело, как оно распускается, кости, словно бы вывороченные в суставах и узлах непосильной работой, выпрямляются, прилегают всякая к своему месту, и весь я делаюсь отмякший, как бы отдаляюсь от себя самого, погружаюсь в медленную, доверчивую дрему, только спина, взмокшая от пота и горячего чая, еще ежится, вздрагивает, вжимаясь в сено, находя удобное ей место.

Я дремал, но засыпать не торопился, зная, какая длинная и покойная ночь впереди, сколь много еще отдыху мне предстоит и какое блаженство знать об этом и никуда не торопиться. Можно смотреть, смотреть и каждую минуту замечать вокруг в природе перемены и ощущать вместе с нею чуткое, в ночь переходящее завечерье. Все еще видно внизу остывающую реку, за нею зароды сена сделались отчетливей на осветившихся лугах, перелески по-за лугами, означавшиеся на последнем небесном свету, совсем отемнели, сцепившись в тихом испуге стволами и листвой. Ничего не слышно, и потому, должно быть, в ушах у меня все еще переливался рябчиный пересвист. Уже без азарта и злости вспоминал я, как хитрили рябчики, не подпуская меня близко, а заряды у меня были старые, слабые. Стегнутые дробью рябчики ушибленно подскакивали вверх и оттуда мячиками катились в дурнину распадков. Обжигаясь о крапиву, царапаясь о сучки, я спешил вниз и находил на

дудках и ягодниках живо качающихся три-четыре легких пестреньких перышка — пух остался, мясо улетело!

За весь вечер я взял трех рябчиков, хотя палил раз шестнадцать — ослаб хваленый бездымный порох. Э-эх, то ли дело древний черный порох! Громко, дымно, зато убойно. Лежи он, порох, хоть год, хоть десять, стрелил — дичь в сумке, а за этой вот бегать надо. Ну ничего, у меня в патронташе есть еще штук пять патронов с дымным порохом, и завтра утром я дам этим отоспавшимся хитрованам пару! Сяду в ельнике, на грани мелколесья, чтоб видно мне было распадок до самого дна, чтоб влево и вправо слышал я и зрил на рябинниках жирующих птиц... Вот я вам ужо!..

Скорей бы утро! Скорей бы это завтра...

Длинна и благостна осенняя ночь, благостна прежде всего тем, что ни комар, ни муха тебя не беспокоят, спится на холоду, к утру в особенности, так крепко, что и чувствуешь: продрог, замерз, надо бы встать и подживить едва тлеющий костер, но нет сил совладать со сном, шевельнуться, вылезти из теплого, тобою свитого и обжитого гнезда на дрожью пробирающий, бодрый, если иней, то и знойкий холод, вот и тянешь, как парнишка, на себя одежонку, ужимаешься, в калач свиваешься — тут, в лесу, да одному оттого еще хорошо, что можно вести себя как тебе хочется, никто не осудит.

Наяву, сквозь сон ли я услышал движение снизу, от реки. Покатился мягко, шорохливо камень, взял разгон, подпрыгнул на кореньях, щелкнул о камни берега раз-другой и плюхнулся в воду. Я приоткрыл глаза. По темной воде гнало медленный, еще более темный круг. «Рыбак небось возвращается домой, в город». Я снова начал успокаиваться, засыпать, однако камешки все чаще и чаще сыпались вниз и булькали в воду, все ближе по-

трескивали сучки, послышалось тяжелое дыхание — я пододвинул к себе ружье. Совсем близко раздался голос:

— Не беспокойтесь, пожалуйста, я — рыбак.

В ту пору, а было это в конце сороковых годов, в тайге можно было опасаться только беглых арестантов: леса, реки, луга и горы еще не ошеломлены, не растоптаны, не замордованы были нашествием отдыхающих горожан. Я наперечет знал в нашем небольшом городке всех, кто охотничал, рыбачил и просто любил бродить по лесу за ягодами, грибами.

Голос человека был незнаком. Я ждал, не поднимаясь с сена, от костра, а незнакомец медленно шевелился меж темных кип можжевельника, все приближаясь и приближаясь. Наконец он возник в свете костра, приблизился к огню и не сел — почти упал на землю.

Долго и неподвижно сидел человек, смежив глаза, уронив в бессилии голову. Я не тревожил его и ни о чем не спрашивал — есть такое неписаное правило: раз человек объявился в лесу на твоем стане, он сам скажет, о чем хочет, и попросит, что нужно.

Человек был аккуратно и ладно одет в поношенный, ветрами и дождями отбеленный плащ, из-под которого топорщились петельки телогрейки, чуть обросший подбородок упирался в разношенный ворот самовязаного теплого свитера. Резиновые сапоги с высокими голенищами были аккуратно клеены во взъемах и по сгибам голенищ. На боку висела вместительная брезентовая сумка, и от нее донесло тем запахом рыбы, который не спутаешь ни с чем, едва слышным, как бы замешанным на белом лесном снегу, чуть отдающим огуречной свежестью и еще какой-то сквозно струящейся, редкой травкой, но все это вместе пахло просто рекой, хорошей, горной, стремительной рекой,

«Харюзятник!» Длинная палочка, на которую рыбак опирался, вовсе и не палочка, не сучок, а удилище, вершинка у которого бамбуковая, наконечник же из тонкой, стеклышком скобленной черемушки, половинки удилища соединены жестяными трубочками. Удилище прямо и в меру жидко, поплавка на леске не было. Но я только секунду-другую смотрел на обряду рыбака. Заметив, что правый рукав, в который человек все время втягивал руку, тяжело набряк и скоробился, я сначала думал — от мокра и слизи, однако, присмотревшись, обнаружил, что обшлаг плаща, петелька телогрейки, выставившаяся из-под него, даже пуговица в каком-то красном налете, как бы в засохшей кирпичной жиже.

И вдруг меня прохватило жаром: «Да это же кровь!»

— Что с вами? — быстро отбросив плащ, приподнялся я.— Вы ранены?

— Нет-нет! — торопливо отозвался человек и, открыв глаза, протянул в мою сторону толсто замотанную руку.— Гемофилия.

Я вопросительно и молча глядел на рыбака.

— Несвертывание крови. Болезнь такая.

Конечно, не таскайся я по тайге с детства, не побывай на фронте, не навидайся всяких страстей и чудес, так и сказал бы, наверное: «Какие же черти носят тебя по лесу с такой болезнью?» А тут поскорее поднялся, подшевелил огонь, бросив в него сухих сучков, чтоб ярче горело, подсунул на уголья котелок с остатками чая и спросил:

— Чем я могу вам помочь?

— Если есть сухая и чистая тряпица?

Я достал из кармана носовой платок, протянул его рыбаку, он кивнул — сгодится. Вспомнив про хлеб — он у меня в холщовом кошельке,— вынул поклажу из рюкзака.

Долго и осторожно разматывал я руку незнакомца и чем далее разматывал, тем мокрее и тяжелее от крови делались тряпки, и я ожидал увидеть большую рану на руке, но, размотав кисть и вытерев пальцы, нигде ничего не обнаружил.

— Ерш,— слабо и виновато улыбнулся человек. — Клюнул, проклятый. Как я ни остерегался, все-таки ткнулся, и вот...

Осторожно, не очень туго я заматывал руку рыбака и дивился этой оказии: на брюшке большого пальца, едва заметная, возникла бисеринка и, пока я прицеливался обмотнуть на руке платок, налилась со спелую брусничку, округлилась, лопнула и тонкой ниточкой потянулась по запястью под рукав.

— И ведь когда стараешься не наколоться, не поцарапаться, обязательно наколешься и поцарапаешься,— продолжал уже бодрее говорить человек, как бы оправдываясь передо мною.

— Это уж точно,— поддержал я,— рябчика манишь — хоть бы не кашлянуть, хоть бы не кашлянуть, а тебя душит, а тебя душит... Ну и забухаешь. Рябчика как ветром сдунет...

Рыбак неторопливо попил чая, сладкого, хорошо упревшего, и, слегка утолив жажду, поведал мне о том, что болезнь эта у него прирожденная, что сам он из Ленинграда, здесь, на Урале, живет его сестра, и он каждый отпуск ездит к ней, да и не столько к ней, сколько подивиться на уральскую, такую могучую древнюю природу, осенями дивную и тихую. Нигде нет более такой осени. Но главное, страсть свою потешить — нет для него большей радости, чем харюзование, особенно осенями, когда хариус катится из мелких речек. Предупреждая мой вопрос: как же с такой болезнью один по тайге? — немного оживленный чаем, рыбак добродушно

и все так же чуть виновато и доверительно улыбнулся:

— Ну а что? Лучше умереть дома? В больничной палате? Нет, нет! Я уж надышусь, насмотрюсь, нарадуюсь за тот век, который мне отпущен. Пусть он не долгий век, но видел я красот, изведал радостей столько!..

Что с ними, с этими чокнутыми природой, поделаешь? Сам такой! Пока мой новый знакомый говорил о рыбалках, об Урале, реки и леса которого он, к удивлению моему, знал куда лучше меня, пять лет здесь прожившего, я напрягал память, пытаясь вспомнить кровоостанавливающие средства, ибо платок мой и поверху примотанный холщовый мешочек уже пробило изнутри репейно ощетиненным пятнышком, но ничего, кроме крапивы, не вспомнил.

Я сделал из бересты факелок, вылил чай до капли из котелка в кружку и спустился в распадок, где и нарвал лесной крапивки, вымочившись в дурнине почти до ворота. Пока бродил во тьме, рвал крапивку, вспомнил о змеевике — кажется, верное кровоостанавливающее средство, особо корень. Еще бы зверобойчика хоть кустик сыскать — от всех бед и болезней трава, ну а подорожник-то всюду найдется.

Долго шарил я под завесой пихтача, возле покосов по-бабьи вольготно, зеленой юлкой рассевшегося, отыскивая в не выбитых литовкой уголках лечебную траву, повторяя, чтоб не забыть начало деревенского наговора: «Горец, горец почечуйный, перечный, птичий, змеиный или еще какой молодец,— покажись мне, откройся...»

Но отсияли, отцвели травки — осень все же, попробуй без цветов и примет отыскать траву, да еще в потемках — все жухлы, бледны. Однако в теньке среди оплывших морковников и мочалкой свитых трав я нашел

все же былки бледно доцветающих стрелок змеевика и рядом его собрата — ветвистый перечный горец, для верности пожевал и ощутил с детства не забытую, почти щавельную кислинку.

За пихтачом, отоптанным колхозными коровами, на маленькой кулижке, возле утихшего муравейника сыскал и ветки зверобоя с отгоревшими восковыми цветочками. Подорожник рвал на ощупь возле речной тропы.

Я парил травки в котелке, остужал навар, делал кашицу из подорожника ножиком. Мой новый товарищ смотрел на меня и рассказывал про Ленинград, воспринимая как что-то должное мои хлопоты — верный признак того, что сам он много помогал людям.

— Война кончилась,— как о чем-то обыденном и привычном говорил рыбак.— Утихает горе. Люди, природа, все-все как бы вновь и новой, какой-то неведомой добротой открываются нам... Жить бы да жить...

Я промыл его руку теплым отваром, осторожно и в то же время содрогаясь от бессильного недоумения и внутри занявшегося холода, вытер капельку крови с брюшка пальца, залепил ранку величиной с иголочное ушко кашицей подорожника, завязал руку оторванным от нательной рубахи лоскутом и указал на котелок:

— Пейте. Как можно больше пейте — это должно помочь...

Он послушно пил теплый отвар, с вялой настойчивостью поел хлебца с маслом, разошелся в еде и прямо с кожурой уплел пару моих почти до хруста упекшихся в углях картошек. Я тем временем еще раз спустился к речке с котелком, вернулся с водой, и рыбак ублаженно молвил:

— Навязался вот...

— Ничего, ничего, высплюсь. Успею. Мои рябки от меня не уйдут! Рядом бродяги! — кивнул я на распадок.

— А мои харюзы в реке. Странно, правда? Спят вот и не знают, что мы тут наготове...

— Да, да...

Я растряс сено пошире, подбил его от пихты в головах. Рыбак прилег лицом к костру, выставив завязанную руку на тепло, и быстро утих. Спал он младенчески тихо, не шевелясь, и я порой вскидывал голову — живой ли? Еще один встречный, еще одно удивление человеческой недолей, силой его, величием перед неотвратимой смертью.

Привычное еще с войны, с госпиталя, непроходящее чувство вины перед обреченным угнетало меня. Происходило это еще и от спокойствия человека, от его невысказанной обиды на судьбу. Но общение с ним не давило. Обезоруживала его обыденная, прямодушная откровенность, в которой не было места истерике, зависти и ненависти к тем, кто живет и останется жить после него,— признак здоровой натуры, трезвого ума и незлого характера.

Я подживлял огонек, палкой сгребая уголья к краю кострища, чтобы грело рыбака спокойным теплом, и в поздний час, в студеное предутрие, сам уснул мгновенно и глубоко.

Проснулся и едва не ослеп от белизны: повсюду на лугах, на зародах, на зеленой отаве, вдоль берегов Усьвы, на ельниках и последних листьях осин и берез белел иней. Каждая хвоинка на пихте с той стороны, где недоставало тепло огня, была как бы обмакнута в серебряную краску. Внизу, в распадке, звонко и беззаботно пищал рябчик, у реки трещали дрозды и, отяжелев намокшим пером, коротко перелетали над землей, шарахались в ельниках, осыпая иней,— птица тянула на рябинники.

Я вскочил от огня, бойко горевшего сдвинутыми голо-

вешками, и не обнаружил рыбака. На сене лежал клетчатый листочек, вырванный из блокнота, и на нем было написано: «Спасибо, брат!» Я осмотрел листочек с обеих сторон — он был чист, не захватан кровью. «И слава богу!» — сказал я себе, поскорее собираясь. Под пихтой, подальше от тепла что-то серебрилось. Я наклонился: три отборных крупных хариуса чуть прикрыты сырым мохом и веткой пихты.

Под горой, ниже охвостки острова, заметно темнела фигура человека, он забродом стоял на струе и редко взмахивал удилищем — искусник, рыбачит на обманку!

Оставив завтрак на после, на ходу хлебнув из кружки теплого чая, я торопливо надел рюкзак и поспешил из ельника на опушку, к белолесью, вдоль которого уже пели, заливались задиристые петушки, и мама-рябчиха понапрасну серчала и сипела с земли, призывая неразумных молодцов к осторожности и благоразумию.

Утро, солнечное, бодрящее, белое, звенело примороженным листом, словно били леса в колокола, пробуждая к жизни все сущее на земле.

ДРЕВНЕЕ, ВЕЧНОЕ

Загулял наш конюх. Поехал в райцентр вставлять зубы и по случаю завершения такого важнейшего дела загулял. Рейсовый автобус ушел, и он остался ночевать у свояка.

Кони (их было семеро — два мерина, две кобылы и трое жеребят) долго бродили по лугу и, когда я шел от реки с удочками, вскинули головы и долго смотрели мне вслед, думая, что, может, я вернусь и загоню их, но, не дождавшись никого, сами явились в деревню, ходили от дома к дому, и я решил, что они уснут на лугах или прижавшись к стене конюшни, нагретой солнцем со дня.

Поздней ночью я проснулся, пошел на кухню попить квасу. Что-то остановило меня, заставило глянуть в окно.

Густой-прегустой туман окутал деревню, далее которой вовсе ничего не было видно, и в этой туманной пелене темнели недвижные, как бы из камня вытесанные силуэты лошадей. Мерины и кобылы стояли, обнявшись шеями, а в середке, меж их теплых боков, опустив головенки, хвосты и желтенькие, еще коротенькие гривы, стояли и спали тонконогие жеребята.

Я тихо приоткрыл окно, в створку хлынула прохлада, за поскотиной, совсем близко, бегал и крякал коростель; в ложку и за рекой Кубеной пели соловьи, и какой-то незнакомый звук, какое-то хрюканье утробное и мерное доносилось еще. Не сразу, но я догадался, что это хрипит у самого старого, надсаженного мерина в сонно распустившемся нутре.

Время от времени храп прекращался, мерин приоткрывал чуть смеженные глаза, переступал с ноги на ногу, настороженно вслушавшись — не разбудил ли кого, не потревожил ли? — еще плотнее вдавливал свой бугристо вздутый живот в табунок и, сгрудив жеребяток, успокаивался, по-человечески протяжно вздыхал и снова погружался в сон.

Другие лошади, сколь я ни смотрел на них, ни разу не потревожились, не пробудились и только плотнее и плотнее жались друг к дружке, обнимались шеями, грели жеребят, зная, что раз в табуне есть старшой, он и возьмет на себя главную заботу — сторожить их, спать вполусон, следить за порядком. Коли потребуется, он и разбудит всех, поведет куда надо. А ведь давно не мужик и не муж этим кобылам, старый, заезженный мерин, давно его облегчили люди и как будто избавили от надобностей природы, обрекли на уединенную, бирючью жизнь. Но вот поди ж ты, нет жеребца в табуне — и старый мерин, блюдя какой-то нам неведомый закон или зов природы, взял на себя семейные и отцовские заботы.

Все гуще и плотнее делался туман. Лошади проступали из него — которая головой, которая крупом. Домов совсем не видно стало, только кипы дерев в палисаднике, за травянистой улицей, еще темнели какое-то время, но и они скоро огрузли в серую, густую глубь ночи, в гущу туманов, веющих наутренней, прохладной и промозглой сонной сырью.

И чем ближе было утро, чем беспросветней становилось в природе от туманов, тем звонче нащелкивали соловьи. К Кубене удрал коростель, пытался перескрипеть заречного соперника, и все так же недвижно и величественно стояли спящие кони под моим окном. Пришли они сюда оттого, что я долго сидел за столом, горел у меня

свет, и лошади надеялись, что оттуда, из светлой избы, непременно вспомнят о них, выйдут, запрут в уютной и покойной конюшне, да так и не дождались никого, так их тут, возле нашего палисадника, сном и сморило.

И думал я, глядя на этот маленький, по недосмотру заготовителей, точнее, любовью конюха сохраненный и все еще работающий табунок деревенских лошадей, что сколько бы машин ни перевидал, сколько бы чудес ни изведал, вот это древняя картина: лошадь среди спящего села, недвижные леса вокруг, мокро поникшие на лугах цветы бледной купавы, потаенной череды, мохнатого и ядовитого гравилатника, кусты, травы, доцветающие рябины, отбелевшие черемухи, отяжеленные мокром,— все-все это древнее, вечное для меня и во мне — нетленно.

И первый раз по-настоящему жалко сделалось тех, кто уже не просто не увидит, но даже знать не будет о том, что такое спящий деревенский мир, спящие среди села смирные, терпеливые, самые добрые к человеку животные, простившие ему все, даже живодерни, и не утратившие доверия к этому земному покою.

А кругом туман, густой белый туман, и единственный громкий звук в нем — кряканье коростеля, но к утру устал и он, набегался, умолк. Вышарил, наверное, в траве подружку, затаился с нею с мокрых, бело цветущих морковниках. И только соловьи щелкали все азартней и звонче, не признавая позднего часа, наполняя ночную тишину вечной песней любви и жизни.

СОДЕРЖАНИЕ

Виктор Петрович Астафьев

ДРЕВНЕЕ, ВЕЧНОЕ

Редактор **А. Г. Перепелицкая.** Художник **Ю. И. Батов.** Художественный редактор **Е. А. Якубович.** Технический редактор **Л. Б. Чуева.** Корректор **М. Е. Барабанова.**

ИБ № 2051

Кодированный оригинал-макет издания подготовлен на электронном печатно-кодирующем и корректирующем устройстве «Север». Сдано в наб. 07.09.79. Подп. в печать 11.11.79. А10096. Формат $70\times108^{1}/_{32}$. Бумага типографская № 1. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. п. л. 2,80. Уч.-изд. л. 2,60. Тираж 50 000 экз. Заказ № 433. Цена 10 к. Изд. инд. ХД-296.

Издательство «Советская Россия» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103012. Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.

10 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»